

Господь и постановил, чтоб люди служили молебны Касьяну раз в четыре года, а Николаю-угоднику – два раза в каждом году. В високосный год, в дополнительный день, сданный в аренду Касьяну, по городам и весям шарит его недобрый глаз. Орловские мужики, как свидетельствует этнограф Сергей Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», старались проспять этот день до обеда, да и после без нужды из дому не выходить.

В прочие годы месяц так короток, что оставляет по себе некоторое тоскливое недоумение. И неясное ощущение, что до итога не хватило пары дней. А также трезвое сознание, что дополнительное время ничего бы не изменило. Нет, все-таки прав был царь Петр: никак нельзя завершать год февралем: февраль – это незавершенность.

Вот вам образ февраля... Угасающий свет холодного дня как бы нехотя уходит с покосившихся деревенских крыш. Старый согбенный священник пробирается по протоптанной тропке к церкви. Он долго возится с замком, ворочает ключ в скважине, дышит на ладони, отогревает их под мышкой, потом, наконец, справляется с дверью, входит в холодный храм, и парок его дыхания мешается с дымком спички, от которой занимается первая свеча. Это Сретение Господне. Никто толком не знает, что празднуют в этот день. Повод, конечно, известен: Симеон-праведник встречает в храме младенца Иисуса, чтобы теперь умереть спокойно. (Так умирают старые крестьяне, исполнившие тяжкий труд жизни.) Священник водружает на аналой Евангелие. Много ли будет людей на службе? Немного. Прихожане храма большей частью спят на погосте, каждый под своим крестом. Из тех, кто живы, придут те, кто могут. По старому неискоренимому суевию, сретенские свечи, горевшие за обедней, наделены магической силой: у кого первого погаснет, тот раньше умрет. А если на выходе свеча еще горит и трижды капает на руку, жди счастья. Есть же такие счастливики – до сих пор ждут...

Февраль... Зима к концу. Что ж так щемит сердце? Кругом снег и снег – морально устаревший, прошлогодний, залежавшийся. Деревенские дома жмутся друг к другу; страшно потеряться в этом снежном просторе... Вот вороны на снегу расклеивают пустячный сор. Дранный кот, крадущийся вдоль забора, делает вид, что собрался поохотиться. Птицы косятся на него, и кот, уличенный в злых намерениях, как бы пожимает плечами: а что такого? просто мимо гуляю... Ну и гуляй себе дальше, за околицу, где снежные поля окаймлены черными кружевами перелесков.

Что ж так грустно смотреть вдаль? Пронзительная графика деревьев едва подкрашена акварелью: в пустой кроне яичным желтым растекается заходящее зимнее солнце. И так сладко ноет и трепещет сердце, пойманное в паутину ностальгических ниточек, протянувшихся из детства через всю жизнь... И почти уже не хочется знать, что будет. Человеку дано трудиться, но не суждено познать плоды трудов своих.

В феврале нутром понимаешь, что такое эсхатология. Если по словарю, то это учение о конце всего сущего в вечности. А если попросту – смертная память о грядущем, нависающем черной тучей на горизонте наших дней. Русский дух от века смущался тайной светопреставления. В тех же петровских преобразованиях современники видели не столько начало новой эры, сколько начало конца всех времен. Кто с явным ужасом, кто с тайной надеждой. Предчувствия особенно обострялись в критические дни отечественной истории.

19 февраля 1861 года вышло освобождение крестьянам, и с этого акта началась Великая реформа Александра II. Ах, как не надо было ему начинать в феврале! Двадцать лет спустя царя-либерала убили радикально настроенные критики реформы, и работа по переустройству России на европейский лад осталась незавершенной. Не первый раз. И не последний.

В недобром 1917 году Февральская революция случилась как выкидыш истории, и надежда на новые добрые времена приказала долго жить. Фатум незавершенности словно довлеет над нами на всем протяжении русского пути. Что-то роковое случается у нас со всеми великими проектами. Как там у Шекспира? *«И начинания, вознесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия...»*

Так трижды принимались строить великую Байкало-Амурскую магистраль; столько усилий и жертв, и что же? До сих пор замысел не доведен до конца. Так триумфально, на энтузиазме миллионов, первыми вырвались в космос – чтобы потом как-то необъяснимо глупо уступить все приоритетные направления, словно беговые дорожки, догоняющему сопернику. Так обветшал и рухнул недоделанный социализм в одной отдельно взятой стране. Да и сама страна... СССР развалился без явных к тому причин, как большой дом, оставленный без попечения хозяев, которым надоело его ремонтировать и лень было перестраивать. Единственный настоящий мотив преждевременного конца эпохи – истощение исторического смысла. Незавершенность как национальная идея.

венно исчезает из памяти, оставляя по себе смутную тень.

Ранняя весна питает не столько чувства, сколько предчувствия. По краю сознания скользит нечто незримое, для чего ни образа, ни слова нет. Что-то случится... но что? Может быть, то, чего не может быть. Ведь именно в апреле к деве Марии явился архангел Гавриил, возвестивший, что она избрана для чуда. 7 апреля православные люди празднуют Благовещение.

О, это тревожное и радостное предвестие неведомого, свойственное поэзии! Так у Давида Самойлова:

*Была туманная луна,
И были нежные березы...
О март-апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!*

Апрель – пренатальный период природного цикла: какие-то события, причины которых покрыты зимним мраком, в подводном течении времени обретают вероятные контуры и наращивают виртуальную плоть. Уже ясно, что вот-вот начнется что-то хорошее, но что именно – еще совсем неясно. Что-то случится, что-то уже стучится в двери рассвета, – но мы дремотно грезим о чем-то своем и думаем, что это сердце стучит, напоминая о себе тревожными весенними переборами...

*Туман весны, туман страстей,
Рассудка тайные угрозы...
О март-апрель, какие слезы –
Спросонья, словно у детей!..*

О март-апрель! Нежный холод в тени и жалящее тепло на припеке... словно озноб и жар весенней лихорадки. Сквозь прах и тлен прошлогодней листвы по тихим ложбинкам оттаявшей земли пробиваются подснежники, примулы, крокусы... самые хрупкие и самые храбрые из весенних цветов. В редкую стежку в сопревшем покрове сырого лога вкрапления новой травы. Ожидание и сомнение, нетерпение и трепет... В окрестные рощи возвращаются птицы. Отощавшее зверье день ото дня чувствует себя увереннее. Звери нутром чувят, что самое страшное позади. Блажен, кто дожил...

Краски апреля исчезающе легки и почти прозрачны. Акварель дня через пастельные сумерки сгущается в гуашь вечера. Даже в полнолуние бархатная темнота доверху заполняет все пустоты ночи. Настороженность и неподвижность – вот что навораживает на окрестность апрельская луна.

В спектре апреля ощутима легкая горечь. Это беглый привкус набухающих почек. Это испарина

древних холмов, греющих лысые бока на полуденном солнышке. Это дым запрещенных костров, стелющийся над городами и весями, когда заботливые обыватели приводит запаршивевшие за зиму дворные территории в божеский вид. Эта родная горечь будоражит и пробуждает в генах какие-то очень древние инстинкты. Наверное, это смутное эхо эпохи палеолита...

Апрель наводит на мысли о пасторали, о временах исторической невинности человека – когда картина мира только-только зарождалась в космологическом мифе. Годовой цикл начинается весной. Земля, субстрат всего живого, и вода, главная субстанция всей жизни, воссоединяются в новом творческом акте. Набухшая соками плоть земли, вспоротая плугами по полям и взлелеянная по садам и огородам, узнается на ощупь как почва. Мать сыра земля...

А по дворам ни свет ни заря истерически кричат петухи и требовательно режут коровы. Крупный рогатый скот волнуется в стойлах, обострившимся нюхом угадывая в ветре запах зашевелившихся под землей корней. Недаром над апрелем властны Овен и Телец, геральдические звери Зодиака.

Счастливые камни месяца прозрачны, чисты и холодны. Апрелью конгениальны алмаз и хрусталь. Алмаз камень опасный, он приманивает ледяным блеском голодных духов, а вот горный хрусталь избавляет от страшных снов.

Кажется, что всему сушему в апреле присуще нечто общее: сладкая тревога и веселое беспокойство; что-то вот-вот начнется, и не надо бояться – на этот раз все будет хорошо. Словно золотая дымка, восходящая над землей, над оттаявшей душой брезжит радость. Апрель в античной традиции посвящен Афродите. Его основная тональность – влюбленность, не имеющая предмета. В самом деле, во что влюбляться? Кругом еще почти ничего нет. Поэтому так часто влюбляются во что попало. Разлитой везде и всюду нетерпеливой надеждой пропитывается и обновляется всякая любовь. Так наливаются невидимыми соками старые деревья, чтобы найти в себе силы для новой листвы. Пока мы живы, мы способны к обновлению... Пожалуй, я сказал глупость. Мы живы, пока мы способны к обновлению. Так будет лучше.

*Вдали, за гранью голубой,
Гудят в тумане тепловозы...
О март-апрель, какие слезы!
О чем ты плачешь? Что с тобой?*

Апрель склоняет к идеализму, но сам отнюдь не идилличен. Весна уже не девочка, родившаяся

в холодном доме зимы, какой была в марте, – и еще не девушка на выданье лету, какой будет в мае. Весну бросает в жар, то в холод. Неуклюжая нервность подростка то и дело срывается в неосознанную жестокость. Юность только в ретроспективе прекрасна – в ностальгической дымке воспоминаний, очищенных многократной перегонкой испарившейся реальности через змеевик мозга. (Так исцеляется в кучевых облаках больная вода захламленных озер и заиленных рек.) На самом деле юность, как и весна, – время темного неоформленного томления, хронического раздражения и острых приступов хандры. Авитаминоз, чего вы хотите... да еще гормональные бури в луже талой воды. Болезнь роста. В паутине психики всякие комплексы оживают, словно черные крупные мухи. На апрель приходится один из пиков суицида. Поэт Маяковский свел счеты с жизнью в апреле. Вот ведь как...

Весна строит свое эфемерное счастье на перегнивших костях осени. На апрель, большей частью именно на апрель приходится Пасха. Но об этом таинственном и трагическом повторяющемся событии священной истории походя писать нельзя, не надо. Великий праздник воскресения из мертвых слишком велик, чтобы вместить его в обыденный разум. Светлый праздник предстоящего – исходящий из кромешной тьмы. Так у Томаса С. Элиота – не то метафорически, не то метафизически:

*Апрель, беспощадный месяц, выводит
Сирень из жертвой земли, мешает
Воспоминанья и страсть, тревожит
Сонные корни весенним дождем.*

Первого апреля у нас празднуется День смеха. В этот день умные смеются над дураками; все остальные дни в году наоборот. В России, как известно каждому дураку, две беды – дураки и дороги. В апреле по дорогам нет проезда, а от дураков нет прохода. Поэтому принимаются срочные меры, начинается лихорадочная суэта в коридорах власти – энергическое оживление, подозрительно похожее на сезонное обострение в палатах психиатрических клиник. Но жизнь берет свое. Уже к концу мая те опасные дороги, что стоят в отчете, худо-бедно подлатаны, а те опасные дураки, что состоят на учете, кое-как подлечены. Не берите всерьез; это просто неудачная шутка. Такой уж это странный месяц. «Этот синий апрель» – так назвал Михаил Анчаров романтическую повесть, прошитую меланхолическими стихами. В том числе этими:

*И поднимет весна
марсианскую лапу...
Скрип ночных тормозов,
словно крик лебедей.
Это синий апрель
потихоньку заплакал,
Наблюдая апрельские
шутки людей...*

Сбивчивые строчки полузабытого барда всплывают из памяти (верно ли я вспомнил?) и встают комом в горле. Ностальгический спазм напоминает о бренности всего земного. Что было – прошло, и что будет – тоже пройдет. И в этой тотальной утрате мы все равны. Люди, в самом деле, – что ж мы такие злые друг к другу? Давайте забудем былые обиды и начнем все с начала; когда же, если не в апреле?

Апрель начинается с первоапрельского вранья – и весь месяц никому и ничему нельзя верить. Нагло врут наружные термометры, и кто положился утром на их лжесвидетельство, будет весь день зябнуть в легкой одежонке, чувствуя себя так, словно его разыграли невидимые насмешники. Привычно врут синоптики, гадая по карте атмосферных фронтов, как хироманты по отпечатку ладони. Они не боятся ответственности, потому что знают, что сев на самом деле начнется не тогда, когда придет теплый антициклон с Атлантики, а как только придет из центра кредит на горюче-смазочные материалы, цены на которые опять подлым образом не совпали с прогнозами экономистов и обещаниями чиновников. Врут старожилы, каждый год недовольно ворча, что нынешняя весна какая-то вялая и гнилая. А вот раньше, помнится, весны были дружные, да и люди жили меж собой куда дружнее... Зачем врут – и сами не знают; разве что из жизненного разочарования... Пожалуй, меньше всех врут пацаны своим девчонкам, обещая, если чего, сразу жениться, – и ведь сами почти верят в то, что говорят, отгоняя от сердца шемящее чувство близкой неотвратимой ошибки. Они скоро расстанутся, потому что разойдутся линии их судеб, чтобы, может быть, снова сойтись в октябре, когда осенние сады будут ронять в траву забытые яблоки... словно полоумный метроном отсчитывая потерянное время.

Но пока еще – апрель, время неясных ожиданий, отороченных смутными сожалениями. Тощие счастливые коты нежатся на припеке и самодовольно улыбаются в ленивой дремоте. Им грезится минувший март, и морозные лунные ночи, и ледяная вода солнечных луж, которая так хорошо остужает согрванное горло...

неба»: *«Истинный интерес человека заключается в малом и медленном»*. Воистину так! Мое бытие является в данном масштабе и длится в заданном темпе – я живу здесь и сейчас, и никак иначе.

Я живу здесь и сейчас – сам по себе и вместе со всеми. И если когда я сетую на свои обстоятельства, это бывает редко и длится недолго, потому что наше время лучше приспособлено для жизни, чем предыдущие. Людям, жившим до нас, наша житейская озабоченность показалась бы завидной участью.

Лето на середине, день на переломе; время обещанное. Молодая женщина с оплывшей фигурой, переваливаясь на ходу, с безнадежной жадностью поглощает нечто из пакета; и жить торопится, и чувствовать спешит. Другая, идущая следом, такая же крупноформатная: ее круглое лицо с опущенными углами губ похоже на грустный смайлик L (на сетевом сленге – «печалька»). Покупая на ланч сэндвич с ветчиной, я думаю о том, как вредна для организма такая еда, и мое застенчивое пузечко под мешковатой футболкой непроизвольно подбирается, притворяясь брюшным прессом. Ну да ладно. Проблема веса не из тех жизненных задач, которые надо решать безотлагательно...

Словно в подтверждение данного мнения, на глаза попадает молодая пара: она беременна, он брюхат; глядя на них, трудно не улыбнуться. Если вспомнить хрестоматийный чеховский рассказ «Толстый и тонкий», можно подумать, что благополучных граждан в мире больше, чем неблагополучных. В хронике минувших исторических периодов тощих лет было больше, чем тучных, поэтому дородность была привилегией богатых; теперь же, в благоприятных условиях потребительского общества, каждый может растолстеть без особых усилий.

В тенистом вертограде сквера – стайка воробьев. Одному из них, наиболее смелому, от щедрот старушки, рассевшейся на скамейке, перепала толлика хлеба. Тут же рядом образовались два голубя, тупо наседающих с двух боков с намерением отобрать пропитание. Воробей ловко увертывается, но в итоге все же теряет половину от малого, а с остальным прячется под куст... Вот они, насущные проблемы мелкого предпринимательства! Прямо хоть басню пиши.

Кучевые облака зависли над городом, не решаясь определиться с направлением движения: то ли собратиться в тучу, то ли развеяться по ветру... Но ветра нет, и облака застыли ворохами взъерошенной ваты, отраженными зеркалом реки. Река покатыми берегами раздвигает город; медленное течение

воды вносит наваждение покоя в средоточие сутолоки. Когда на гладь реки находят рябь, светлые отражения облаков мешаются с тенями, идущими из глубины воды. Это зрелище завораживает зрение...

По берегу реки, на запущенной окраине парка, сорное разнотравье. Мне нравится это луговое хулиганье. Среди растений, нашедших здесь пристанище, выделяются зеленые шарики с седой опушкой – бутоны цветов чертополоха. Оцарапав палец колючкой, я сорвал один бутон, еще не ожесточившийся иглами; в лучистом шарике диаметром около полутора сантиметров мне видится сложное совершенство, делающее его похожим на деталь механизма виртуальной машины времени. (В настоящий момент сорванный бутон лежит на моем рабочем столе как некий странный объект, переходящий из лица-зрения в умозрение – стягивающий в виртуальном пространстве текста время обнаружения и время описания.)

По возвращении домой я пребываю в благодушном настроении. Благодушие – хорошее слово, увы, ушедшее из нашей речи, наверное, потому, что чувство благорасположенности ушло из нашей жизни. Даже в зеркало наш человек смотрит с некоторой настороженностью, вглядываясь в себя как в другого, сокровенного: черт знает, что у того за душой и что у него на уме. Впадая в самопознание, я недоумеваю: отчего я отделяю себя как такового от своих обстоятельств? Какой смысл в моей отдельности? У каждого своя судьба, а участь у всех одна...

Проникаясь эсхатологическим альтруизмом, начинаешь жалеть всех людей, особенно обделенных и оскорбленных. Тех, кому при каждом переделе действительности достаются пустые жребии.

День идет к концу. Согласно регламенту, осталось немного чего; в частности чаепитие. Я завариваю чай, смешивая по своему вкусу: на треть цейлонский, на две трети кенийский. В ритуале чаепития есть нечто буддийское, склоняющее сознание к покою. И в то же время к общению. Сегодня в доме гость, который нам в редкость и в радость; как всегда в наших встречах, разговоры переходят в споры: сначала о литературе, потом о политике – о первой с разумием, о второй с раздражением. Я думаю про себя: «Как же надоело спорить!» – и продолжаю тратить время, отстаивая свою позицию... зачем?! Хрен его знает; наверное, срабатывает рефлекс ментального самосохранения. Пока спор кипит, чай стынет...

Странные все-таки существа – люди; о том, что я тоже принадлежу к этому виду разумных существ, в отдельные минуты я думаю с удивлением.

утренней свежестью и сухой вечерней прохладой. Пропыленные поля, расстеленные от края до края раздавшейся земли, тяжелы от созревшего урожая. Полинявшее небо где-то высоко-высоко, а по цвету оно никакое – словно вывешенная на просушку выцветшая крестьянская рубашка, в которой честный пот почти что выел начальную синеву.

Меняется соотношение дня и ночи. Текущий счет светлых и темных часов все ближе к осеннему равенствию. Август для нас начинается Ильным днем. В народных святцах Илья-пророк самый чтимый святой после Николы-угодника. Только Никола добрый и свой, а этот куда как грозен. По преданию, некогда записанному этнографом Сергеем Максимовым в Орловской губернии, перед кончиной мира Илья спустится на землю и трижды объедет землю из конца в конец, предупреждая всех о Страшном суде. В христианской символике Илия – ветхозаветный предтеча Христа, поскольку был взят живым на небо. Ильинским дождем умываются от сглаза. Но это, пожалуй, единственная польза от него, потому что сырость в августе не в радость.

Придет Илья, принесет гнилья... Августовское солнце уже не в силах испарить избыток влаги в ветоши туч, развешенной по горизонту. Вода проливается на землю, вода застаивается в лужах, вода зацветает в прудах и затонах, вода темнеет и тяжелеет в руслах рек. Утренняя роса утрачивает свою радужную легкость и ртутными шариками виснет по листьям травы, прогибая их к земле. Начинаются холодные утренники. На Илью камень утром прозябает.

Главный праздник августа, Преображение Господне, по новому исчислению приходится на 19-е число. В этот день Иисус взшел на гору Фавор и явил ошеломленным ученикам свою божественную природу. С тех пор в мире незримо присутствует фаворский свет, видимый лишь избранным, но согревающий душу всем добрым людям. О чуде Преображения свидетельствует Лука: *«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею»*. Отсвет этого события озаряет трепетным сиянием стихотворение Бориса Пастернака «Август». В этом шифрованном отрешенном шедевре прощание с миром отзывается обещанием – словно по ту сторону жизни есть что-то иное, предназначенное нам в возмещение понесенного здесь ущерба.

*Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры.*

*И вы прошли сквозь желкий, мицценский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.*

Призрак осени, встающий среди белого дня, как нельзя лучше выражает мистический смысл этого месяца. В народе Преображение отмечается как Спас, освящение урожая.

Если календарь, несмотря на все условности, практически расчисляет циклическое движение природы на отчетные периоды линейного времени, то гороскоп, вопреки всем резонам разума, мистически прочерчивает колею для колеса судьбы. Зодиакальный круг определяет внутренний строй сознания, пробужденного к бытию под тем или иным знаком. Над августом владычествует Лев, и лишь к концу сезона он сдает дела Деве. Основное влияние на судьбы рожденных в августе оказывает щедрое Солнце, и в меньшей степени – хитрый Меркурий. Цвета Льва – пурпурный, золотой, оранжевый, алый, черный. И только белый цвет сулит Льву неудачу. Его талисманы – божья коровка и орел.

Под знаком Льва рождаются натуры сильные и пылкие, мистические и рассудительные, шепетильные и властные, в неблагоприятных обстоятельствах склонные к депрессиям и причудам. Аппетиты их велики, желания настойчивы, боль глубока. Они не любят, чтобы им становились поперек дороги.

Иное дело – Дева. Ее время начинается с 24 августа и заходит далеко в сентябрь. Ее цвета – голубой, фиолетовый, зеленый. И – белый, нелюбимый Львами. Талисманом Девы являются кузнечик и астра. В межсезонье рождаются скептики, не верящие в откровение и интуицию. Они, как кошки, разрываются между любопытством и страхом. Они беспокойны и хотят все обдумать, прежде чем делать. Иногда думают слишком долго, что лишает их спонтанности, и из-за этой нерешительности порой упускают верные шансы. Это знак, склоняющий к одиночеству. Под знаменем Девы время зачарованным единорогом плавно переходит из лета в осень.

В воздухе августа, начиная от Ильина дня, носится что-то утомленное и беспокойное, томительное и щемящее. Выгорают цвета, догорают цветы, и легким штрихом летучей паутины гений места уже намечает на уходящей натуре контуры осени. Тускло-золотой закат склоняет мелодию дня к тональности сентиментального романа. *«В парке Чаир осыпятся розы...»* Черт его знает, что за парк такой...

но не успокоена в своих пределах, страсть не насыщена, но утомлена – и только печаль худо и бедно утоляет душевный голод. Если разложить радугу чувств по шкале сезонов, то зиме достанется скупка, весне нежность, лету радость, осени печаль. Почему так? Да потому...

Октябрь проходит под зодиакальным знаком Весов. Осень – время итогов. Цыплят по осени считают. И всегда недосчитываются. Мудрость, крепкая задним умом, объясняет сама себе причины сущего, но изменить что-либо бессильна. Мудрость бесцельна и бесполезна. Так же, как жизнь. Пружины воли просели под тяжестью опыта, и склеротическая надежда на лучшее забывается на продавленном обломовском диване. Что ты там бормочешь, старая? Пустое. Погаси свет...

В душевном смятении мешаются страх быть смешным и стыд стать сентиментальным. Как жаль, что я любил так мало и так плохо... Ничего уже не поправить. В осенних чувствах больше смирения, чем страсти. Не жадный жар, но нежный холод. Я сам себя не узнаю: откуда вдруг такое умиление пустяками и сиротское всепрощение? Я от души прощаю всех, кого не люблю. Они, если рассудить без гнева и пристрастия, такие же несчастные сущности, как и я сам. Их лето прошло одним днем, да и осень вот-вот кончится, обойдя их своим недорогим и недолгим счастьем.

Радость легко и охотно растрчивает себя на пустяки, а печаль хранит себя. Радость преходяща, она вся на поверхности, а печаль всегда где-то внутри и неисчерпаема. Начинается осень, и Сирин, птица радости, улетает в теплые края, а птица печали Алконост остается бедовать с нами.

Как живут люди там, где нет осени? Что они знают о мире и о себе? В глубине ночи райское яблоко падает с дрогнувшей ветки, глухо стучается о податливую землю и тихо лежит в траве, навсегда ошеломленное долгожданной катастрофой. А когда утренняя мгла разойдется с последними ключьями тумана, над землей рассыпается радуга царственной осени. Дрожащее мерцание тусклого золота на вылизанной ветром глади воды; тяжелый обморок умбры и усталая дремота охры; цветущая зелень постепенно уступает место под солнцем болезненной желтизне и нездоровой серости.

В расширенном формате октября все вещи этого мира отъединяются и отодвигаются друг от друга. Все больше расстояния между вехами, и все меньше значения в отдельных вещах. Такой простор!.. А податься некуда. Для русского духа самое привычное состояние. Жизнь решительно не удалась,

значит, надо достойно вынести наступившую пустоту. Ничего нет, да ничего и не надо. Отдать бы последнее – и на волю. Вкус отрешенности, сухой и горький, связывает язык мудрости. Возраст осени склоняет к молчанию. О чем говорить? Все уже сказано. Одиночество и свобода обходятся без слов.

Октябрь уж наступил... Наступил на ворох сухих листьев, скопившихся по кромке дороги, и разреженный воздух вобрал их печальный шорох. Октябрь. Хорошее время для ухода. Исполнив урок или потерпев поражение, обернуться еще раз в прошлое – и уйти куда глаза глядят. Вслед за тенью яснополянского старца, решившегося на бегство из опостылевшего дома. Уйти в бездомность и неизвестность, сорвавшись с цепи причинно-следственных связей. Сколько таких, как мы, кануло в тайных нетях осенней страны...

О вешее сердце мое, захлебывающееся темной венозной кровью! Проведи меня под опадающую радугу октября – туда, где вдоль проселочной дороги стоят в ряд голые ветлы, вздрагивая под напором подступающей тьмы. Все тихие чудеса среднерусской природы особенно дивны осенью – накануне исчезновения. Ибо нет для сердца ничего дороже прощальной красоты. Чудо наоборот: было – и нет... Шкала пустого множества – школа нашего мужества. Все лишнее отходит, и удивляешься – как мало то, что принадлежит тебе, и как мало оно тебе принадлежит. Осенью все с маленькой буквы, и прежде всего имена собственные. То, что помечено кодовым обозначением *владимир ермаков* (и еще что-то неразборчивое маленькими буквами и циферками), то, что кажется таким важным серьезным людям из статуправления, может уместиться (если аккуратным почерком) на поверхности падающего листа. И еще место останется.

Все сущее в мире одной природы – человек и вечер, дождь и дерево, смех сквозь слезы и священное число семь, боль и яблоко, воронье множество над рошей и беспредметная тоска. Вот-вот. Тоска. Беспредметная, бесприютная. Ну куда от тебя деться? Русская душа нараспашку – заходи, устраивайся...

Чем дальше в осень, тем меньше жизни. Дальше будет и того горше. Когда опавшие листья разлагаются по обочинам дорог в серое месиво, когда корявые остовы деревьев царапают глаза готической графикой, воображение смещается по спектру чувств от полуденной радужности в серую меланхолию ранних сумерек. Осенние сказки неразборчивы, как незаконченные черновики. В них нет ни счастливого конца, ни красивой морали. Самую странную сказку, какую я знаю, сочинила моя дочь,

когда ей было лет пять-шесть. *Одна девочка убежала из дому и заблудилась в осеннем парке. Настала ночь; девочка шла по голой аллее и плакала. Было тихо и страшно. А потом она увидела, что навстречу ей идет скелет. Девочка замерла от ужаса, а скелет подошел к ней и ласково спросил: куда ты идешь, красавица, набитая мясом, обтянутая кожей и в прелестном платье?..* Сочинять дальше она не захотела. Кажется, сказка пришла к ней во сне. Осенние сны не сулят ничего доброго. Ну и что? Главное все-таки не счастье. Молодые этого не знают, и хорошо, что не знают.

К концу октября Солнце, если верить астрологам, скатывается с коромысла Весов и попадает под власть Скорпиона. Это знак сарказма и символ самоедства. Томно, тайно, тревожно что-то болит, а что – не понять. Наверное, душа. Ну, ничего, ничего. Это пройдет, дружок, это пройдет... Да и все остальное тоже.

Декабрь: земная музыка зимы

Первый снег закружился над городом на исходе осенней поры, в три пополудни или около того. Снег пробирался мелкими хлопьями сквозь мутную кисею предвечернего воздуха, плутал в ущельях улиц и терялся в распадках площадей, облетал столбы и облипал деревья, обволакивал рваным кружевом кучи мусора, стелил свежими простынями неухоженные скверы и накрывал чистыми салфетками крыши машин. Среди кутерьмы снегопада живым желтым светом сияли окна и волшебным мерцали светофоры. Выброшенный внезапно с низких небес, снег без разбору валился на что попало и, как первый десант, нес огромные безвозвратные потери. Городские улицы слизывали снег грязными языками асфальта; тайные утечки тепла из всех магистралей становились явными черными полосами ничейной земли.

Первый снег, как первая любовь, долго не держится... но помнится крепко. Может, всю жизнь. Может, под тихим снегопадом в каждом прохожем человеке из-под окаменевшей заботы выбирается давно забытый в себе ребенок, исполненный изумления перед первым явлением зимы: *это что? снееег...*

С этого ли дня началась зима, соизмеряясь с календарным сроком? Как знать... Как, в самом деле, в естественном цикле «Времена года» отделить теплую прелюдию ранней зимы от холодного финала поздней осени? Да и надо ли... Снег идет, и чего-то как бы не хватает к этому праздничному случаю. К музыке зимы не достает стихов. Под снегопад па-

мать достает из чулана дорогие строчки, забываемые и полужабитые. Снег идет... два обиденных слова сложились в белой магии языка в колдовское заклинание. *Снег идет, снег идет...* как там дальше у Бориса Пастернака? Ну да! Как можно было забыть:

*К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.*

Туда, где улицы уводят за город, дороги ведут на все четыре стороны света... но редко кто сам по себе последует их необязательному приглашению. Зима замыкает горизонт в земной круг. Куда идти? Зачем? Посиди-ка дома...

Зимой хорошо пить чай с домашним пирогом и перечитывать Диккенса. Когда на улице воет метель, лучше нет, чем задремать долгим вечером над его «Рождественской песней в прозе», пропадая воображением в доброй прорве подробностей: *«Остролист, омела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные окорока, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем – все исчезло в мновение ока. А с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже...»* – и вот уже кто-то когда-то (отец? Боже, как давно это было!) скажет над тобой с ласковой насмешкой: *ну вот, заснул...* – и осторожно высвободит книгу из-под щеки, но оставит рядом, чтобы, едва проснувшись, ты мог продолжить чтение: *«Было утро, рождественское утро и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немало резкая, но приятная, – счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыши, к безумному восторгу мальчишек, смотревших, как, рассыпаясь мельчайшей пылью, рушатся на землю снежные лавины».*

Надо же! И в самом деле утро, и слышно, как наша прилежная дворничиха под окнами скребет снег большой фанерной лопатой с железной кромкой, и ее малокалиберная собака Тёпа старательно несет сторожевую службу, провожая проезжие машины нарочитым лаем и приветствуя прохожих энергичным хвостом.

Зима приходит с плановой ревизией и подводит итоги года. Студеный ветер у нее на службе не знает снисхождения к человеческой слабости; он находит все щели в нашей защите. В неплотно притворенные фрамуги вслед порывам ветра устремляется скудное коммунальное тепло... немедленно задраить все оконные створки! На простуженной улице наглый холод пробирается под ненадежные одежонки легкомысленной моды... утеплиться в срочном порядке!

Тепло на фоне зимы выступает как экзистенциальная категория. То есть вопрос жизни и смерти. Тепло как счастье тела. Тепло как радость сердца. Тепло как этическая ценность. А еще эстетическая. Как учуял некогда другой поэт, Андрей Вознесенский, – *снег пахнет антоновкой*. Почему бы? Может, в начале своего падения он пролетает над эдемом и вбирает по дороге немного аромата райских яблок? В дачных чуланах земные яблоки ворочаются в сене, устраиваясь получше. В городских дворах ничьи собаки валяются по снегу; им нравится такая погода. Настоящая собачья стужа еще впереди.

Итак, настал срок, и на Русь пришла зима. Оскудели леса и застыли воды, и ранний закат медлит над оснеженным горизонтом... так теплится свеча в серебряном шандале. Просияв по кромке дальнего леса, скоро гаснет и этот последний свет, и в ночи начинается белый танец метели. Но никто не выходит по ее приглашению на ледяные паркетные рек. По ту сторону тишины чуткое ухо уже слышит благовест рождественской звезды и немые колокола крещенских морозов.

Нет, прежним лютым зимам, судя по всему, на нашем веку уже не быть! Никогда уже не занесет наши города и села так, чтобы на многие дни семьи были отрезаны в своих жилищах от всего мира и сплочены воедино пленительной бедой избыточного снега. Даже холода теперь не студеные, а зябкие. В нашей нынешней зиме что-то сиротское... не столько ужас и восторг, сколько тоска и скука. Но и в такой зиме есть своя радость, надо только отнестись к ней с доверием, как к еще незнакомой музыке, которую кто-то написал для нас и теперь с понятным нетерпением творца всматривается из-за снежных кулис в наши лица: ну как? вам по сердцу гармония мира? вам нравится жить?

*Песни счастливой зимы
на память себе возьми.
То, что спрятано в них,
не отыщешь в иных.
Здесь, от снега чисты,
воздух секут кусты,
где дрожит средь ветвей
радость жизни твоей.*

Это ранние стихи Иосифа Бродского, еще не огощенного и огорченного неразрешимостью вековечной проблемой времени. У времени нет ни начала, ни конца. Вот и все, что мы знаем о времени. Вот ведь что странно: о том, что для нас всего важнее, мы знаем меньше всего. Единственная фамильярность, которую мы можем позволить себе в отноше-

нии времени, – это его измерение. «Скажите, пожалуйста, сколько времени?» – «Сколько? Да сколько угодно! Ибо наш мир погружен в вечность...»

У времени нет ни конца, ни начала. То же самое у кольца. Кольцо календарного года сжимается на горле человека, чьи дни сочтены в небесной канцелярии, и смертельно уставшие врачи, отводя глаза, вяло говорят о скрытых резервах организма и положительной динамике. В черном глянцевого окна больничной палаты над веткой старой ели подолгу застывает луна – большая и круглая. Как на годоводней открытке. Как в хокку Мацуо Басё:

*Луна или утренний снег...
Любуясь прекрасным, я жил, как хотел.
Вот так и кончаю год.*

Неслышным эхом стиха возникает метафизический парафраз последней строки: *вот так и кончаю век*... Каждый год кто-то не доживает до нового года. Но те, кто доживает, составляют абсолютное большинство человечества. Они продолжают историю. У живых позади бездна памяти и впереди пропасть времени. За ними бесконечные заботы, перед ними вечные проблемы. Год кончается: опыт подводит итоги и сводит концы с концами. На перевале лет можно перевести дух. Мы заслужили этот праздник. Кто, если не мы...

Додуматься до календаря нашим предкам было не трудно. Повторяемость природного цикла естественным образом водила мысль по замкнутому кругу житейского опыта. Готовь сани летом, а телегу зимой... Но вот кому первому пришло в голову разорвать в уме магический круг и устроить по этому поводу ритуальное торжество, определенно был добрый гений рода человеческого. В символическом обряде смены лет змей времени сбрасывает старую кожу и сжигает ее по чешуйкам в веселых огнях праздничных свечей. Теперь каждый словно получает еще один шанс. Все начинается как бы заново, что бы это ни значило.

Сколько ни есть на Руси праздников, а лучше этого нет. словно на перекрестке временных лет разведен огонь, около которого можно отдохнуть душой и отогреть сердце, прежде чем пойти дальше по жизни. По ходу декабря в душе нарастает ожидание праздника. Глаза разбегаются по праздничным витринам, и в ушах словно звон стоит... это музыка Нового года; ну конечно! – слышите? слышите! как не слышать: она – везде. Ледяные прозрачные пластины раздвигаются с хрустальным перезвоном – идет Шелкунчик! Каким чудом гению Чайковского

удалось приручить всю эту чертовщину и сделать ее такой домашней и уютной? Вот он, словно волшебник, взмахивает волшебной дирижерской палочкой...

Под бой новогодних курантов в бокал шампанского окунается старая тоска, чтобы чудесным образом обернуться новой надеждой. Дай Бог, чтобы она была покрепче духом. В предпраздничной лихорадке, в ознобе ожидания и жаре торжества, подразумевается вероятность чуда, то есть счастливого сбоя в порядке вещей, потому что в смене лет, как при перемене власти, чуть больше шальной свободы, чем всегда, и меньше, чем обычно, осознанной необходимости.

У каждого возраста свои новогодние радости. В этот полуночный час дети перебирают подарки, а старики – воспоминания. Хорошо, когда хватает и того и другого. Старый год не уходит сразу; он задерживается в остановившихся часах, он застаивается в полутемных комнатах и до самого утра составляет компанию бессоннице, перебирающей в памяти потускневшую мишуру давно забытых елок.

У Нового года запах хвои и мандаринов. Ладно, хвоя – тут все понятно: какую еще красоту мог бы положить суровый север на жертвенник праздника, как не колючую и пахучую лапу ели, протянутую дому лесом? Но вот мандарины – это счастливый случай; щедрое приношение Кавказа к праздничному столу. В мандаринах то хорошо, что их кисло-сладкая плоть охотно делится на дольки... всем хватит! Даже самый маленький мандарин легко разделить со всеми, кто рядом. Даже самые отъявленные скупердяи в новогоднюю ночь испытывают искушение щедростью. Даже самые небогатые могут позволить себе настоящую роскошь – удовольствие дарить. Хоть пустичок какой. Хотя бы доброе пожелание. Вот и мне хочется сказать что-то хорошее вслед эху новогодних курантов. И скажу.

Люди, будьте счастливы! Пожалуйста...

Мода на восточный календарь потеснила в наших сердцах рациональный европейский счет времени. Запад ведет свою хронологию как отчет по работе времени. Суть истории, если по Гегелю, – стремление впредь, к недостижимой цели. Восток же судит иначе. В круговороте жизни и смерти бесконечная нить длительности наматывается на скрытый смысл существования: так гусеница шелкопряда наматывает на себя невесомую шелковину. Может быть, древняя мудрость ближе к истине. Может быть, однажды кокон вскрыется, и...

Господи, о чем это я? Надо же, куда меня занесло под Новый год! Вернемся лучше к восточно-

му календарю. Есть какая-то магическая прелесть в хороводе символических зверей, вечно идущих друг за другом по зодиакальному двенадцатилетнему циклу. При смене лет появляется множество дурных пророчеств и глупых предсказаний. Автору этого эссе тоже хотелось бы вставить между строк что-нибудь загадочно многозначительное, чтобы придать тексту толику харизмы. Но нет, куда мне состязаться с магами и астрологами, напрасно напрягая свое хилое астральное тело, фатально не способное проникать в будущее... Да и не охотник я подглядывать за фортуной во всякие мистические щелочки. Никчемное это занятие. Каким бы ни был новый этап нашего жизненного пути, жить надо по старому проверенному правилу: делай что должно, и пусть будет что будет.

Согласно этому суровому правилу строил свою непостижимую жизнь Лев Толстой, самый большой авторитет русской литературы. Хотя во всем прочем его мятежный дух не подчинялся общим правилам, в том числе и тем, что сам утверждал. Такой уж он был – не такой, как все. Однажды, ведомый неведомой силой, он бежал из своего дома – но его бегство стало символическим завершением толстовского мифа; сакральным центром круга его жизни стала Ясная Поляна. Течение времени кольцом Мебиуса замкнулось вокруг его музея. Может быть, жизнь каждого из нас в конечном счете лет обретает форму локальной бесконечности, таинственным образом вписанной в общее существование...

Говорят, что в новогоднюю ночь, когда часы бьют полночь, в яснополянском парке можно увидеть невиданное: по заснеженному Прешпекту, въездной аллее родовой усадьбы, не оставляя за собой следа, бродит старый человек в долгополом тулупе и шапке, надвинутой на лохматые брови, удивительно похожий на сердитого Деда Мороза...

